

РОМАН БОГОСЛОВСКИЙ  
ЗАЧЕМ ТЫ  
ПРИШЛА?

РОМАН



издательский дом  
**ФЛЮИД**  
FreeFly



# Роман Богословский

## Зачем ты пришла?

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=32543272](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=32543272)*

*Зачем ты пришла?: ФриФлай; Москва; 2018*

*ISBN 978-5-906827-44-9*

### **Аннотация**

Второй роман молодого прозаика Романа Богословского рассказывает историю любви – любви-бури, любви-наказания, любви-беды. В разрушительном огне безудержного влечения сгорают два брака, судьбы главных героев и их родных. В этой любви мало «приятного», «милого» или «трогательного». Но зато именно такие любовные сюжеты запускают механизмы эпосов, вращают колеса истории и освещают вспышками смысла человеческую жизнь.

# Роман Богословский

## Зачем ты пришла?

© Р. Богословский, 2017

© ИД «Флюид ФриФлай», 2018

\* \* \*

Зачем ты пришла?

Что за снега намели тебя? Спасаясь от треска каких морозов, вошла ты в банк тогда? От чего ты хотела сбежать, вступив в мою жизнь своим замшевым сапогом? Зачем смотрела на меня придирчиво-карими глазами, чему улыбалась? И почему улыбался в ответ я?

Ты пришла по воздуху, и все земное осталось там, за дверью. Жизнь была поставлена на сигнализацию. Тобой и только тобой.

Ты села в кресло напротив меня. Веселая хитрость и желание играть не давали тебе покоя, выводили на всякие пустяшные разговоры, и ты сама себе удивлялась. Ты цепляла меня словами, а пальчики твои, словно горсть рассыпанных драже, стучали по моему столу. И я наслаждался своим конфузом: что происходит, чего хотят эти пальчики с ноготками, покрытыми бордовым лаком?

Ты говорила, я слушал не слова – дыхание. Ощущал твое

движение на ощупь – шаг влево, шаг вправо, шаг прямо.

Когда ты шла прямо, я не мог больше оставаться прежним: щелкал мышкой по всем углам монитора просто так, чтобы жить. Листы и таблицы скакали взад-вперед, и ты существовала с ними в унисон: то смеялась, то подступала все ближе, глядя в глаза, наклоняясь ко мне. И грудь, обтянутая черным свитером, касалась карандаша на моем столе. И карандаш вздрагивал. Я отклонялся назад, пока позволяла спинка кресла. Мы с креслом ничего не понимали, оба. Оно протяжно пищало, а я все совал ручку себе меж бровей.

Я – банковский пиарщик, сижу в кабинете, ты пришла ко мне по работе, но почему постанывает кресло и зачем я тычу ручкой меж бровей? Давай подписывать договоры, давай выбирать лучшие рекламные места, давай... Но ты закидываешь ногу на ногу – и ручка чуть не протыкает мой третий глаз. Куда он смотрел, этот глаз, на что? Он все проморгал, близорукий.

Встречаются красивые женские ноги. Короткое платье, потом немножко ног в черных чулках, совсем чуть, лишь ободочек, затем сразу сапоги. Откуда подробности... ног? Почему я хочу видеть больше? Куда я смотрю, почему?

...Два оставшихся глаза вглядываются в мерцающий монитор, как бы говоря тебе – интереса никакого нет, не надейся. Но тебе уже пора в другие банки, автомобильные компании, строительные фирмы и бутики. Ты продавец наружной рекламы. И глаза твои отныне в наружном наблюдении за

мною.

– А у вас что, в банке дресс-кода нет? Ты в джемпере и без галстука, рубашка не классическая...

– Я их обманул. Снимал по одной вещи в месяц: сначала пиджак, потом галстук. Через месяц уберу из-под джемпера и рубашку. Потом переоденусь в джинсы. В черные правильнее, типа под брюки. Изменения должны быть постепенными – тогда их не заметят.

Ты аккуратненько так засмеялась, я ответил улыбкой. И это был мой конец – я вляпался в начало. Подмышки взмокли, волосы на голове слиплись, задрожали, но ты не видела, ты уже уходила.

Через неделю ты пришла снова, и мы спустились на склад, где хранились рекламные баннеры. Я должен был выдать их тебе.

Склад и ты. Склад и я.

Я понимал: ты неприятно удивишься – думает про баннеры, все не о том. Думает о работе этот длинноволосый. И мы ходили по баннерам, плакатам, листовкам, оставляя на них отпечатки моих ботинок и ямочки от твоих шпилек. Мы делали вид, что ищем нужные материалы, иногда касаясь друг друга пальцами. У тебя они были холодные, мои же горели – джемпер в тот день оказался слишком уж теплым. «Не уметь объясниться – что может быть хуже? Хотел стать птицей – да рожей – в лужу», – вспомнилась песня.

Объяснять на самом деле было нечего. Ты продаешь, я по-

купаю. Продаешь не свое, покупаю не на свои. Это и есть работа, да? Но что-то требовалось, определенно. Какое-то звено выпало, не его ли мы искали под плакатами про ипотеку? Какое-то дуновение, еле видимый призрак – он прятался, скользил по углам. Что может быть хуже...

– Послезавтра у меня освободятся еще две поверхности, обе в центре. Не хочешь?

– Не знаю, денег-то больше нет у банка пока. А можно взять сейчас, а оплатить в следующем месяце?

Все это было не то, и я зачем-то заговорил о музыке. Двое на складе рекламной продукции, и я вдруг о музыке. Как трудно передать всю свою жизнь в нескольких фразах, как тяжело объяснить, что музыкант делает на этом складе, в этом банке, в этом джемпере! Хотя... У него же есть ребенок, которого надо кормить и одевать.

Ответ про ребенка тебе понравился.

А меня все обволакивало. Я знал: мы не должны быть здесь. Оправдания про работу не работали. Все не так. Это уже не работа, хотя ничего не произошло, мы просто искали, искали, искали. Искали нужное, нащупывали, разматывая баннеры – тот или не тот? Не тот, он устарел, тут процентная ставка другая, это было в прошлом месяце. Может, этот? Нет-нет, такой кредит из линейки вообще убрали. А, так вот он, да? Цвет похож! Нет-нет-нет, этот напечатали с неверным адресом...

Ты вдруг села на корточки, приподнимая очередной бан-

нер, и колени твои от неожиданности заходили ходуном, взбугрились. Какая непривычная худоба. Ты была вся как итальянка из моих снов – с черными волосами, в черном одеянии; ты сияла, улыбалась и не желала поскорее убраться из душного подвала, где нестерпимо воняло всякой химией, этими плакатами.

Ты рассказывала о том, что читала Свяша, я же, не зная, кто это такой, сказал, что читать – это скучно. Ты, усмехнувшись, спросила невпопад, а не приходило ли мне в голову все это отсюда украсть... Это? Отсюда? Зачем? Ты не унилась: чтобы накрывать теплицы. Но у меня нет и не было теплиц...

И глаза твои... нестерпимые, хрупкие, как капельки темного масла. Зрачки в них быстро разрастались. И я подумал, что всю эту химию можно просто продать тем, у кого есть теплицы – именно это ты имела в виду? Ты уже об этом не думала. Ты сказала, пойдем, посидим в моей машине, тут очень жарко. Машина на улице, там хорошо, свежо. Ну а баннеры? А баннеры потом.

Твоя маленькая черная машинка стала нам домом, рестораном, развлекательным центром и дискотекой. Какие только драмы в ней не разыгрывались, какие только решения не принимались! Но в первый раз попав в нее, я немного оробел. Не потому, что я такой робкий, а потому, что неясно – зачем и почему я в машине у тебя.

Ты включила музыку, и мы поехали по обледенелым до-

рогам без всякой цели. Я то и дело поскользнулся на фразгах, машину твою тоже вело в разные стороны. Ты сидела чинно, глядя на вечерний город созревающим взглядом. А я рассматривал профиль. Так все прочерчено... Как нужно. Так все правильно... Как надо. Но это все не мое, это чье-то чужое. Вот покатаюсь – и все. И домой, целовать жену на пороге, стряхивать снег с шарфа.

Снова заговорили о музыке. Я сказал, что у тебя в машине звучит всякая дрянь. Открыл бардачок, копался в дисках без твоего разрешения. Ванесса Мэй. Первый альбом Земфиры. Какие-то романтические коллекции... Я решил записать тебе сборник настоящей музыки. Даже если я не буду больше мчать с тобой по вечернему городу, сборник все равно запишу. И подарю. Ты не была против. И сказала, что в далекий северный городок, откуда ты родом, часто приезжали рок-группы, но помнишь ты только концерт Юрия Лозы, который, согласно твоему едкому замечанию, уже тогда был рябой и страшный.

Я сидел гордый. А ты рулила, давила ножками на педали. Такая маленькая, взрослая, но все же девочка – и вдруг умело выкруливает из сугробов. И показывает изящнейший средний палец с длинным ногтем огромным лысым мужикам в джипах. Зачем ты пришла? Что за пороша тебя намела?

- Останови, пожалуйста, у любого ларька, я пивка куплю.
- Хорошо. И мне купи.

Ты имела в виду томатный сок. Что за дикость – ты грыз-

ла сухарики, запивая их томатным соком! Я смеялся над этим, ты недоумевала – а что такого? Я предположил, что это, должно быть, довольно дурно на вкус. Но ты была невозмутима, и глаза твои вмещали все пространство вместе со мной. Ты в короткой курточке, юбочке, грызешь сухарики, запивая их томатным соком из трубочки. И все это, этот твой вид и этот хруст, обжигает меня, хрустят суставы мозга моего.

Ты была так похожа на девственную шлюху с этими сухариками. Знаешь, кто такая девственная шлюха? Она еще молода и ни с кем не спала, но грудь ее вздымается, глаз искрится, ноги сходятся и расходятся при виде подходящей мужской особи.

А голос твой рассказывал сквозь томатный хруст о трудностях профессии продавца рекламы.

Интересно, сколько у тебя таких вот знакомых, как я? Скольких ты катаешь по городу? Это и есть вся твоя жизнь? Катать нас в своей машинке? Вопрос был слишком бестактным, и я утопил его в глотке пива. Не мое дело. Покатаюсь – и домой.

Ты вырулила на мост, и я запел: «Томатный хруст. Тома-а-а-атный хруст» – на мотив «Вечернего звона». И ты сказала с шутливым уважением, что я смешной и не такой, как все.

Как это тревожно – меня везет на машине девушка. Почему не наоборот? Эй, успокойся, в тебе и так всего много, так много, что скоро повалится, польется через край, куда тебе

еще девушек возить? Вообще тогда сверхчеловек какой-то будешь, так не бывает. Ты вот ей спой что-нибудь, расскажи о тайных обществах древности, поговори с ней о философии, покажи себя. А она пусть баранку крутит, смотри, как выходит – всех мужиков сделала эта улыбчивая итальянка.

Я хотел попросить тебя, чтобы близко к дому не подъезжала – соседи, жена. Ведь не поверят, что это такси, а ты в нем таксистка. Но с неба вдруг повалило так, будто сотни небесных снеговиков вдруг разом опорожнили по огромной бочке снега, и я понял, что если даже жена выскочит сейчас в халате и подбежит к машинке вплотную, она ничего не поймет. И таксистку не увидит, и ее распутное такси тоже.

Я вышел.

Ты улыбнулась, дернула переключатель скоростей, обдала меня снегом из-под колес и уехала. А я еще долго курил, стяхивая на огромные снежные хлопья. И пепел медленно падал небольшими серыми бугорками.

– Что-то ты поздно, я уже звонить хотела. Мы только зашли, дочь твоя снежную бабу строила за домом.

– Посмотри, какой снег... Я гулял. Под ним и по нему.

Следующим утром я пришел в банк в джинсах и толстовке. Показалось, что уже пора. Коллеги в костюмах и галстуках, некоторые даже в тройках (даром что без дымящих сигар) оглядывали меня с восхищением и улыбкой. Еще бы! Им бы так! Особо наглые натуры подходили с вопросом – что, увольняешься? Нет, отвечал. Напротив, намерен попро-

свить прибавку.

Начальница с подружками ела жареную курицу. Огромная тарелка курятины высилась в центре стола. Услышала, что я копаюсь в кармане в поисках сигарет, вознегодовала, что я никогда не зайду, не поем, не расскажу, как растет дочка, как отношения с женой, как мне работается. И правда – в этот раз я готов был зайти, ответить на все вопросы, улыбаться и даже отведать курицы, но испугался, что они увидят, как я одет. Одно дело – рабочий процесс. Когда все заняты бумагами, переговорами, телефонными звонками, можно и не заметить, в чем ходят сотрудники, но другое дело – кухня, шаговая доступность, разговор на отвлеченные темы...

– Простите, Анн Михалн, знаете же, что куриц не люблю. А ребенок – отлично. Вчера снежную бабу лепили за домом.

– Ровно в три часа ко мне с медиапланом. Принесешь всю разблядовку, распечатаешь. Будем вычеркивать ненужное.

Тогда она повычеркивала почти все, что я собирался купить у тебя на следующий месяц. Мне уже было плевать, заметит она джинсы или нет. Я стоял как пьяная пружина, покачиваясь над медиапланом, который она весь черкала жирным фломастером – утраченного было не вернуть, а остального из-за жирноты этой не разобрать.

Ведь я же обещал тебе. Я сказал – вопросов нет, все куплю. Давай центральные улицы, давай... Но Анна Михайловна, глядя на меня тускло, с неприязнью, сквозь маленькие свои очки, стыдила меня за расточительность, разбрызгивая

капельки слюны. Спрашивала, неужели я не знаю, что в мире кризис, что итальянское руководство потратило почти весь рекламный бюджет аж четырех филиалов, чтобы поставить дорогие кресла в драматический театр, а я, такой легкомысленный, взял и не использовал этот инфоповод, не позвонил в СМИ, не договорился о публикациях. Но я договорился, а все публикации лежали у нее стопкой на столе. Она стала поплевывать капельками покрупнее, говоря, что у нее нет времени просматривать какие-то там публикации, что ставка рефинансирования изменилась и теперь вообще все изменится, все мировое устройство, и далеко не только финансовое.

Ты приняла известие спокойно. Сказала, что продашь еще кому-нибудь. И меня впервые лягнуло под дых: еще кому-нибудь? А вдруг потом с этим вот кем-нибудь ты будешь кататься по городу, издавать томатный хруст, выруливать из сугробов?

Следующие полчаса я убеждал себя в том, что я один мужчина из всех твоих покупателей. Как только я убедил в этом не только себя, но и тебя – успокоился. И мы говорили о твоей семье, о муже, который тебе опостылел, но человек он хороший, о дочери, которая засунула себе в нос пуговицу, и пришлось вызывать врача.

Я рассматривал тебя всю и по кусочкам, в отдельности, а в голове сама собой нажалась кнопка «play», вывернулись все ручки громкости и зазвучала только одна мысль: как часто

и с кем именно ты сидишь вот так вот в кабинете, а потом катаешься?

Почему ты включилась, мысль?

А ты все смотрела на меня как ни в чем не бывало, не подтверждая и не опровергая мое подозрение. Я мог бы спросить в лоб, но спрашивать такое у девушки, которая формирует твой рабочий процесс, нехорошо и глупо. Иди и спрашивай у жены. Она тебя интересуется? Вот сейчас ты сидишь в своем кабинете с этой «мисс ногу на ногу», а где твоя жена? Чем занята? С кем она? Может, поменяешь диск в башке и нажмешь «play» сам, а не кто-то за тебя?

Ты прохаживалась по кабинету, отодвигала жалюзи, рассматривала канцтовары на моем столе. Потом встала сзади, глядя в монитор. Руки положила на спинку кресла с двух сторон, словно промахнулась по моим плечам. Я закрыл рабочий файл, стал показывать тебе статью о самом себе, что-то о группе, в которой я играл и пел. Не знаю, было ли тебе интересно, я не видел твоего лица, лишь ощущал тебя макушкой, кожа на ней вибрировала под волосами, мне даже показалось, ты можешь это видеть.

– Возьми меня как-нибудь на концерт своей группы. Что за смешное название – «Нижние земли»? Что оно означает?

– «Нижние земли»... Это ямы, выбоины, овраги, в которые, идя по жизни, человек попадает ежечасно. Это печальное название. И музыка печальная. Включить?

Банк. Вокруг деловые люди и серьезные сотрудники, а мы

с тобой слушали кустарные записи «Нижних земель», потому что профессиональных у группы не было. Я просто балдел от гордости. Ты наконец увидела, услышала меня с другой стороны. Но кнопка «play» все еще была нажата в голове и диск с альбомом «С кем она еще катается по вечернему городу?» оказался нескончаемым, как альбом-эпопея, двойной, тройной, четверной. Никакие «Нижние земли» не могли заглушить эту музыку.

И мы опять катались. Ты как-то совсем уж неожиданно завела разговор о своем муже. Он прекрасный отец. Верный супруг. Хорошо зарабатывает. Но ты его не любишь. Уже давно не любишь, годы и годы. Я все это уже слышал – скучно...

– Но почему?

– Нипочему Просто.

Каких только методов и хитростей ты не придумывала, лишь бы не ложиться с ним в постель: от банальной усталости до многочисленных дел. Но я не унимался: неужели вообще ничего, никак и давно? Ты с безразличием к вопросу дала понять, что все же было. Недавно он брал тебя силой в коридоре вашей квартиры. У него в тот день все набухло с самого утра, сказала ты, дернув щекой. Ты неохотно рассказывала об этом, будто о насилии в далеком детстве.

Но ведь тебе нужен мужчина, распаялся я, нисколько при этом не имея в виду себя. И они, мужчины, поползли из тебя, словно говяжьи червячки из мясорубки.

Первым был фитнес-тренер, молодой, красивый, мускулистый. Впервые он прижал тебя к накачанной груди после одной из тренировок. Он верно прочитал тебя, твой взгляд, твой посыл, он все уловил. Фитнес-тренеры большие в этом мастаки. Ты усмехнулась мне: главная мужская мышца у него оказалась гораздо слабее и меньше остальных. И я, слушая, еле заметно стал двигать бедрами. Ты это заметила. Тебе было любопытно созерцать это шаманское проявление моего бессознательного. Я ездил по креслу – туда-сюда. Я возбуждался.

– И как же ты дальше с ним встречалась после такого разочарования?

– Очень просто: никак. Послала и все.

Да, тебе нужна была мышца, Главный Мускул. Понимание этого совпало с твоим выходом на работу. Там тебя заметил начальник – ты вызывающе танцевала на корпоративе. Он был без бугристых мышц, но главный мускул у него оказался хорош.

Впервые это случилось в новогодние каникулы. Мужу ты сказала, что едешь работать. В какой-то степени это было правдой: начальник ждал тебя в кабинете с мускулом наперевес. Он в исступлении стянул с тебя джинсы, разбросал одежду по углам кабинета. Ты отметила, что связь ваша длилась довольно долго. Он качал об тебя свой мускул в лесах, посадках, на полях, в его квартире, в его кабинете, в его машине, в твоей машине – да, вот прямо тут, где сижу я. Или

сзади? Отвечай, сзади?! Или тут?! Где именно?! Вы хоть закрывали окна, чтобы случайный грибник не услышал тебя, твое грудное контральто? Не помнишь? А ты вспомни! Прости... извини... Я сделаю музыку погромче, ничего? Спасибо.

Зачем я все это слушал? Зачем выяснял подробности и детали? Что за сладкое чувство вызывали во мне твои рассказы? Сладкое и вместе с тем обжигающее, как сознательно пролитый на ногу кипяток. В груди кололо, ладони потели, губы кривились, но я слушал и слушал. Смотрел на тебя и слушал. Я никогда, никогда не буду с тобой, слышишь? Ты же просто секс-автомат для начальников и фитнестренеров. Я убил бы тебя сразу после малейшего подозрения. Одерни платье, убери от меня свои ноги. Убери свои губы. И глаза убери. Выйди из машины, слышишь? Руки на капот! Ноги на ширину плеч! Тебе смешно. Ты хохочешь. Ты говоришь, что все это в прошлом. А что же в настоящем? Кто он, а? Кто в настоящем? Где он, как его зовут? Я чувствую его, ощущаю где-то рядом, он поблизости. И снова улыбка. И снова слипшиеся твои ресницы. И снова этот танцующий взгляд, самба двух зрачков. Куда, на кого ты смотришь? На него? Нет, на меня.

Мы не виделись два дня, а на третий ты приехала ко мне в банк в конце рабочего дня. Приехала злая, заплаканная. Я не хотел тебя видеть, но сам не заметил, как оказался в этой твоей машинке. Ты с ходу стала рассказывать, прерываясь на

всхлипы, что муж не убирает дома, что молчит по три дня, что хочет на завтрак, обед и ужин разные блюда, а ты ведь работаешь, тебе некогда. Ты говорила, что он ходит из комнаты в комнату, злой, в напряге. Тебе неприятно, когда он пьет чай. Тебе плохо, когда он включает телевизор. Ты убегаешь в спальню и закрываешься там с дочерью, когда он пытается обнять тебя. Дочь – спасение. Он не посмеет, когда дочь рядом. Ты не знаешь, как прожила с ним пять лет под одной крышей. Ты ничего не понимаешь, но кое-что помнишь:

– Ведь я так любила его первые два года!

– Успокойся! Не дрожи... Еще полюбишь...

Ничего более глупого я сказать и не мог. Я не понимал тебя.

Я любил Светку не в прошлом, а сейчас. Ну, изменил пару раз по глупой пьяности после концерта – и что? Ведь любил же. Твой далекий муж при деньгах и ты сама – вы оба меня раздражали своими пустяжными проблемами. У вас все есть, так что же нужно от меня? Зачем я в вашей жизни с разными блюдами на завтрак, обед и ужин? Мне не нужно разнообразие. Мне стало жаль тебя, и я накрыл твою ладонь своей. Твое ухоженное личико повернулось ко мне в обомлевшем каком-то бессилии, в смутном желании неизвестно чего... То ли желание это было, то ли надежда на... что? Забыв про мужа, ты напомнила, что я обещал тебе диск.

И вот наши первые поцелуи на морозе.

Мы приехали в сквер, я вытащил тебя из машинки и стал

целовать, сжимая при этом худющую спину так, что лопатки твои съехали со своих обычных мест. Но почему мы так долго ждали? Точнее – я ждал. Ведь ты была готова еще тогда, в подвале с рекламной продукцией. Я долго ждал потому... Я пытался исторгнуть тебя, как только мог. Я смотрел в глаза жены своей и читал в них, насколько сильна моя неприязнь к тебе. Ты не нужна в нашем мире. Ты пришла... какая-то лишняя, с подкрашенным помадой смехом, как полоумная фея.

Вечерами я всматривался в темную зиму за окном и не понимал, как ты оказалась рядом. А Светка подходила сзади, обнимала и спрашивала, чего я там, в темноте, высматриваю. Я улыбался и целовал ее в макушку, пахнущую орехами. А потом мы укладывали детей – и качалась луна, и ходила ходуном картина, подаренная отцом мне на день рождения. И когда Светка засыпала, я снова смотрел в тихую ночь. А теперь этот ледяной поцелуй на морозе – тягучий, мягкий, узел из теплых языков.

Твой вопрос о том, почему я не сделал этого раньше, вырвался вместе с паром, растопив мороз вокруг нас:

– Ты приходил, садился в машину и уходил! Пришел, позевал и ушел. Я не нужна тебе. Вот и все.

– Да, вот и все. Вот увидишь, в январе все закончится, я тебе обещаю. Еще ничего и не начиналось.

Почему я сказал «в январе»? Непонятно. Мы схватили друг друга еще крепче, и новый поцелуй превратил все ска-

занное в глупый фарс. Мои глаза были открыты, я покусывал твои губы и смотрел на сугробы, по которым каждые выходные катал на санках дочь и где мы со Светкой жгли большие зимние костры. Здесь, на земле, где моя семья обретала саму себя, заливаясь смехом и играя в снежки, стоишь теперь ты, дрожишь в моих руках, глаза твои закрыты, холодный нос щекочет мне щеку. И я стал покусывать твои губы с остервенением, с обвинениями, с раздражением. Я целовал тебя, словно пойманную в лапы вину свою – нелепую, досадную. Все, чего мне хотелось, – это побыстрее уйти, сбежать, хотелось, чтобы ты сейчас же уехала и я никогда не увидел бы тебя вновь.

Но поцелуй все тянулся, скрипел под ногами снег, чернело низкое небо, и волосы твои выбивались из-под капюшона.

Потом ты сказала, что вчера чуть не случилось горе. Начальник настиг тебя, а ведь ты давно дала ему понять, что все кончено. К счастью, ты дала достойный отпор в виде какой-то унижающей мужское достоинство шутки. И вообще – ты уходишь на другую работу.

Мне было все равно. Я хотел поскорее убраться из твоей элегантной машинки. Я схватился за ручку, чтобы выбраться, чтобы не видеть тебя больше. Но ты засмеялась, вспоминая наш поцелуй. Ты с остервенением спросила, не заподозрила ли чего жена, не учуяла ли запаха чужой бабы? А то было дело, сказала ты, что однажды пришла домой после этого самого начальника вся пропахшая его одеколоном... В

этот вечер муж ходил по дому почти согнувшись, смотрел в пол, не просил блюд и не тянул руки к тебе. А тебе не пришлось закрываться в спальне с дочерью, и ты спокойно посмотрела новости, а потом еще и фильм.

С каким пренебрежением ты это рассказывала! С какой хвастливой радостью! Каким досадным малодушием было для тебя мучение другого! Нет, слышишь? Никогда, никогда, только не с тобой. Короткое платьице, чулочки, сапожки, вот эти вот скулы, смуглое личико, эти губы – все это деланный образ, нужный для одного – лгать, предавать, пережевывать и плевать все, что сию секунду надоело, стало вдруг чужим и лишним.

– Отвези меня, пожалуйста, домой. Там родственники приехали, ужинать сейчас будем.

– Посмотри – у меня что-то в глазу...

Ты включила в машинке свет и молниеносно, словно безумный злой дух, придвинула лицо свое прямо к моему, распахнув один глаз. И я смотрел в него. И он не мигал, зрачок стоял, застыв. Я видел красные прожилки, словно начертанную дорогу судьбы, млечный мой путь. Глаз моргнул и заслезился. Он смотрел и смотрел на меня. Потом ты стала шевелить зрачком, словно он неваляшка – вверх-вниз, вправо-влево. Крупная слеза, образовавшись на пустом месте, выпала из глаза. В полутьме показалось, что и зрачок упал вместе с ней. Но нет, он на месте. Он снова смотрел на меня, но теперь вздрагивал. Я сказал тебе, что ничего не вижу,

никакой соринки, и бревна тоже нет. Все чисто, все хорошо. Так ты останешься со мной еще ненадолго, спросила ты с нескрываемой радостью. И я остался еще на час.

Родственники, про которых я соврал, сидели и смиренно ждали меня у порога. А чуть за полночь – растворились в морозном воздухе.

В конце зимы пришел конец моей работе в банке. Управляющая вызвала меня и, помявшись, сказала, что все, что кризис, что первыми сокращают маркетологов и пиарщиков, ведь денег на покупку рекламы все равно нет. Она даже немного поплакала – видно было, ей жаль со мной расставаться, несмотря на стабильно и нагло нарушаемый мною дресс-код.

Вышел из банка в вечерний февраль с двумя пакетами в руках: ручки, карандаши, телефонная зарядка, сменная обувь, кружка, фотография дочки – вот и все. В кармане последняя зарплата, перед глазами склизь, лужи и грязные автобусы, снующие туда и сюда. Все, нету больше дресс-кода, ты выиграл, сказал себе, закурил и поехал домой, чтобы рассказать новость Светке.

В магазине у дома купил бутылку водки и тортик дочке. Светка успокаивала, гладила по плечам, волосам. Говорила, что мы вместе, а вместе мы сможем все, что-нибудь придумаем, мы же должны... и в горе, и в радости. А я запивал водку воспоминаниями о твоих губах, глазах и коленях. Светка успокаивала, а я видел тебя на каждом сантиметре про-

странства.

Выпивал тебя, тобою закусывал.

Ушел в ванную, чтобы опустить голову в горячую воду, зажмуриться и увидеть проплывающие перед глазами фиолетовые круги. Водка грела изнутри, вода снаружи. Мозг превратился в желе, и ты отступила, улетела куда-то вверх, просочилась в трещину на потолке. Вдруг смертельно захотелось жареной курятины, что ела банковская начальница.

Дочка пришла в туалет, сказал ей машинально какую-то глупую фразу, задернул шторы – стесняется, выросла уже. Может, это я вырос? Сейчас, здесь, сию минуту? Светка кричала из кухни. Доносился только голос и интонации, слов было не разобрать. Наверняка успокаивала. Или признавалась в любви. Вдруг заколотила в дверь, открыл:

– Ты совсем охренел что ли? У нас не водопровод, а сломанная колонка. Забыл? Там вон огнем уже все горит, выключай скорей горячую воду!

– Да, забыл! Вот забыл! Имею право в такой знаменательный день забыть про твою сломанную газовую колонку?

Квартирка была не очень, это точно. А газовая колонка – просто монстр, поломанный робот-домовой. Она шипела, трещала, вспыхивала не там, где надо, позвякивала и урчала. Казалось, колонка рано или поздно взорвется. Ребенка мы к ней не подпускали, да и сами ее как-то побаивались.

Я вышел из ванной разгоряченный и злой, с мыслями позвонить тебе. Светка – вот прямо ее распирало – так и твер-

дила, и пела про любовь, верность, взаимовыручку, крепкую семью. И как ни пытался я соскочить с этой темы, все заканчивалось одним:

– Ты ведь меня любишь?

– А то ты не знаешь? Все подтверждений ищешь...

Водка ложилась в желудок слоями, кололась, словно превращаясь внутри в лед, потом оттаивала, плескалась. Мне вдруг представилось бескрайнее водочное море, бьющееся о стенки моего желудка. И тут же представилась ты. Интересно, какая ты без одежды. Какая именно ты, а не колготки, сапоги и кофты? Мне нужно было знать это. Я не мог больше ждать, я вышел на улицу под предлогом, что хочу покурить на воздухе. Стал звонить тебе – один, второй, третий, десятый гудок – ты не брала. Злость, горечь, обида. Где ты? Что с тобой? Кто с тобой? Длинные гудки медленно пилили мне горло, входили иглами в уши один за другим. Нет ответа. Тебя нет.

Вернулся в дом, споткнулся при входе. Светка, раскрасневшаяся и добрая, тоненьким голоском пропела, что ребенок уже спит...

– Спит? Ложись! Ну?! Ложись же! Не так! А на бок!

И закачалась картина, подаренная отцом на день рождения, и ходил ходуном месяц за окном. Даже в нашем маленьком зале было слышно, как он поскрипывает и постанывает, разгоряченный, качаясь в черных небесах.

Выполняя просьбу, я решил взять тебя на свой концерт.

Все шевелилось внутри. Но шевеление это было столь веселое, бодрящее, что его хотелось, в нем прекрасно жилось.

Мы приехали в клуб на твоей машинке, толпа перед входом расступилась, позволив нам припарковаться. Все смотрели, выжидая – кто это? У нас не было принято разъезжать на иностранных авто с дамами. Обычно мы водили девушек после концерта не в ресторан, а за клуб, в котором выступали. Я рассказывал тебе об этом – ты говорила «мерзость», отворачивалась и ревновала к прошлому.

И я ревновал к прошлому. А более всего – к прошлому-настоящему. Я не мог отпускать тебя к мужу. Мое воображение работало, как мельница: вот ты заходишь в квартиру, вот разуваешься, вот он напирает на тебя, хочет поцеловать, потрогать за грудь, хочет тебя. Ты непонимающе смотришь на него, легко отталкиваешь, давая понять, что есть множество других важных дел. О, какое счастье, что у тебя есть ребенок! О, как мне пригодилась твоя дочка! Она заодно со мной. Не с отцом, нет, а со мной. Она подбегает, бросается тебе на шею, целует тебя, говорит, мама, пойдем скорее читать. И он отступает. Удаляется. Включает канал «Спорт». Замыкается еще на два дня. Эти два дня я буду счастлив. Своего счастья на чужом несчастье не построить? Плевать. Да и строить я ничего не собираюсь. Ты не так уж и нужна мне. Ты ведь знаешь это. Я говорил тебе эти слова при каждом удобном случае.

Концерт тебе не понравился. Ты сказала, что мы все вы-

глядим как-то не так. Сказала, что мним из себя слишком много, но мнения этого музыка наша недостойна. Ты говорила как бы шутя, но все было серьезно. В тот вечер, среди шума и дыма, я впервые понял, что ты обладаешь верным взглядом на вещи, так как и сам начинал охладевать к группе и всему антуражу вокруг. Где-то пока только вдали, лишь только кончиком души... но разочарование подступало. И тут такое: ты выразила то, что я носил в сердце. Ты ведь не знала – это табу у нас.

Можно говорить, если хорошо, но нельзя, если что-то плохо. Музыканты – это такие... хитрые и коварные волосатые зверьки.

Поначалу ты показалась мне злой и бездушной. Мир искусства, причем даже самого великого, не вызывал в тебе никаких эмоций. Ты не верила в гениев и новаторов, не понимала, что хорошего в сложной музыке, в монументально-мрачных композициях. Ты с улыбкой ящерики указывала на недостатки как моей музыки, так и музыки вообще.

Бывает же! Музыка как явление казалась тебе не совсем логичной, не вполне нормальной. Твоим миром правила сплошная черствая физика. Но я понимал или, вернее, день понимал, день отвергал понимание – я почти уже не могу обходиться без этого твоего специфического зла, жальщего меня прямо в лицо, в живот, в грудь. Эта твоя непохожесть ни на что из того, что меня окружало, поначалу неприятно удивляла меня. От обиды я ругался, выскакивал из машин-

ки, отворачивался от поцелуев. Но ты была органична в своей самости, ты искренне не могла понять, чего это я снова «пришел, позевал и ушел». Это было зло какой-то невиданной мною до сих пор пробы. Зло, которое исходило из самого твоего существа, из материнской сиськи.

Я часто уходил от тебя весь какой-то больной и вареный, а дома пил пиво и молчал. Но руки тянулись к телефону, к компьютеру, я ходил по дому раздраженный и злой, лишь бы все скорее легли спать, и уже не тряслась бы картина, и месяц за окном не дрожал бы, а тряслись бы мои руки над клавиатурой ноутбука, набирая тебе сбивчивые, с ошибками, сообщения. В таком вот обоюдном треморе наше отторжение-притяжение и жило. С насилием над соцсетями, электронной почтой и эсэмэс, с быстрыми, смазанными поцелуями, с твоими прохладными, тяжелыми грудями, словно наполненными водой воздушными шариками, с твоими стонами под моими пальцами, с твоей машинкой, с неотвратимыми подозрениями Светки и твоего мужа.

– Ну что, дорогой, здравствуй. Не вовремя позвонила или ничего? Послушай тут немного, я тебе почитаю: «Дорогая моя, родная, как же мне противно и тошно находиться с ней...» Или вот: «Она все ходит и ходит вокруг, не могу нормально сообщение набрать, хоть бы погулять ушла что ли...» Или вот, муженек дорогой: «Как-то постараюсь вырваться и не ехать с ней отдыхать». Ну? Классно?

Я ехал в троллейбусе, телефон примерз к уху. Захотелось

посмотреть в окно, я обернулся к нему, но мороз превратил его в белое полотно, и я стал всматриваться в мельчайшие детали, узоры и трещинки, стал дышать на стекло по мальчишеской привычке.

– Что ты там, задохнулся? И правильно, поскорее бы. А пароль от почты мог бы и посложнее придумать, чем фамилия матери и 1, 2, 3. Думаешь, я ничего не чувствовала? Я все прекрасно чувствовала... и еще как...

Последняя фраза была сказана голосом, искаженным полосующими лицо Светки слезами. На миг я вышел из состояния сна наяву, мне показалось, что Светка сейчас по-настоящему захлебнется. Я испытал что-то вроде кратковременной пьянящей паники. Захлебнется она, а потом мутная вода потечет из мобильного мне прямо в ухо, затопит мозг. Затем давление станет невыносимым и череп мой разлетится на сотни осколков. Они воткнутся в других пассажиров: вонзятся им в шапки, шарфы и пальто.

– У меня ноги сильно замерзли, Свет... Скоро буду...

Ты с печальным интересом слушала, что же было дальше, предаваясь томатному хрусту.

А дальше вот что было. Мы со Светкой выпивали в тишине и темноте, не в силах разговаривать. Все, что она прочитала в моей почте, не только ей не предназначалось, но было написано против нее... Против той, которая любила и терпела. Терпела, любила, верила. Я сидел напротив нее за столом, глядя почему-то на газовую колонку-монстра. Монстр

молчал, поджав железные губы, обвиняя меня в измене.

Я чувствовал себя анатомированным, разрезанным вдоль и поперек, словно торт на дне рождения маньяка. Я – окровавленный торт.

Я знал: стоит ей взглянуть сейчас на меня, она содрогнется. Она увидит ребуху, внутренности, разорванные легкие, сломанные ребра. Но она не стала на меня смотреть, она смотрела в пол и отпивала по глоточку водки, словно по часам – слезка на пол, глоточек, слезка на пол, глоточек. А внутренности... она увидела их в электронной почте, и больше смотреть не на что.

Я был зол и растерян, я сказал тебе, что на этом нашем катании на машинке пришел конец. Мне хотелось придушить тебя, чтобы томатный хруст навсегда прекратился, как прекратился бы радиоактивный запах твоего тела от моих рук каждый раз, когда я выходил из машинки.

Отвернулся к окну и молчал. Как я мог винить тебя? Достал из пакета бутылку коньяка и стал пить, закусывая твоими сухарями. И снова молчал. Ты рассказывала, что муж стал тебя контролировать. Стал часто звонить. Но ты не берешь трубку, потому что просто не хочешь ее брать. Сказать нечего. И спросить ему нечего. Он звонит, и дышит, и молчит. И слышно лишь, как вдалеке громяют станки в цеху, где он работает.

– И что вот он будет молчать? Зачем? Приду домой – все, что нужно, спросит.

Но ты приходишь домой, а он стоит в коридоре и смотрит, и смотрит. И ты смотришь, и он смотрит. А потом не ест то, что ты приготовила. Не смотрит то, что ты включила. Заглядывает в ванную, когда ты купаешься, и тут же резко закрывает дверь. А потом дотрагивается до тебя как бы случайно, но ты ускользаешь в спальню с дочкой.

...мы перелезли на заднее сиденье. Раскорячились там, улеглись, скрючившись. Смотрели в глаза друг другу просто, без смысла. Лежали, словно два манекена, две куклы, забытые и брошенные злой девчонкой-судьбой. А за окном машинки наш со Светкой и теперь с тобой сквер. И магазин, и фонтан. А за ними мой дом, где моя семья ждет меня.

В небе над нами стало темнее. Последние зимние дни сторонились, пропуская весну вперед.

Ты медленно моргнула, ожив. Ожил и я, гладил твою щеку. Не ласково, а быстро, нервно, комкал ее. Ты расплакалась от обиды, злости и боли. Из-за этой дурацкой своей щеки разрыдалась. Или нет? Я не знаю. Ты стала спрашивать у тишины, сколько мы еще так будем лежать, сидеть и ездить. Ты недоумевала, чего я жду. У тебя было столько девушек, ты водил их в ресторан, за ресторан, под ресторан, мимо ресторана, негодовала ты. Почему же со мной все не так? Ты зарычала, стала раздевать меня своими худющими ручками. Рвала во все стороны одежду. Бросила шарф вниз, на коврик, в мутную лужицу. Ты сопела, уже больше не сдерживая себя, страсть вперемешку с гневом управляла тобой, волосы

заслонили лицо, и я уж больше не видел этих зрачков, утонувших в желании и злобе.

Ты запустила руки под свитер, впилась мне в спину, обдирая ее. Целовала меня то в шею, то в лицо, то в свитер. А я все больше тупел, какая-то глупая обида раздирала мне горло.

Меня бесит твоя активность, меня воротит оттого, что ты торопишь события. Ты сравнивала себя с теми, кого я водил за клуб после концертов. Неужели ты хочешь прийти в мою жизнь лишь на одну случку, на один раз? Как ты не понимаешь, что сейчас все по-другому? И я намеренно принимал такие позы, чтобы ты не могла расстегнуть мои джинсы. Твои руки от этого стали еще безумнее, они, словно ты тонула в болоте, шарили по мне, искали пуговицы и молнию, словно спасительный берег. Но все это было бесполезно. И ты, не в силах больше это терпеть, запрыгнула на меня сверху, прижалась к моей груди своей растрепанной головой, красными щеками, злыми, как у загнанной рыси, глазами и расплакалась навзрыд, дергаясь всем телом при каждом всхлипе.

Мне было жаль тебя, но при этом я хотел одного – поскорее убраться из машинки, уйти в свою семью, окунуться в нее. Убежать к монстру – газовой колонке, к зеленой клеенке, что на столе в кухне, к своим колонкам, к ноутбуку, к телевизору, к ребенку, к Светке.

Ты рыдала, я гладил тебя по волосам, чувствуя ладонями странный, нечеловеческий жар, что исходил от твоей голо-

вы. Меня вдруг охватил ужас вперемешку с восторгом: еще чуть-чуть и голова твоя загорится, воспламенятся мои руки, потом свитер, потом шарф в мутной лужице. И мы сгорим с тобой в этой твоей машинке.

– Ну почему? Почему, а?..

– Нипочему Ты ведь так любишь отвечать? Вот и я так отвечу: нипочему.

Я застегнул и надел все, что ты успела расстегнуть и снять. Мы перебрались на передние сиденья. Молчали, смотрели в лобовое стекло, его заносило снегом. И вдруг что-то внутри меня заговорило, слова сами собой сыпались и сыпались, словно колкий снег в лицо.

Говорил, что обещал жене порвать с тобой, забыть тебя, выбросить тебя из жизни; я клялся, что ты – просто так, девушка на день, час, минуту.

Я смеялся как полоумный, рассказывая тебе, как смотрит на меня дочка, когда я прихожу домой, пропахший твоими духами. Она же все понимает, ты это понимаешь?! Она же чувствует, что от папы осталась лишь половинка, одна часть его украдена кем-то чужим.

А Светка? Хлопает и хлопает в ванной. Ходит и следит, что и кому я пишу в интернете. Все эти наши переписки, длиннющие признания в почте – кому оно надо?

Посмотри же на меня, посмотри! Мы ломаем друг другу кости. Мы убиваем все вокруг и умираем сами. И жар, этот твой жар, он как язык пламени, постепенно слизывающий

душу. Мои ладони в ожогах. Наши жизни сгорают изнутри и снаружи. Зачем, зачем ты пришла? Зачем ты вцепилась в этот свой руль, что за мысли режут твой лоб? Скажи же хоть что-нибудь! Что это за нос, что за глаза, откуда все это в моей жизни, объясни?!

И я, уже не помня себя, не замечая своих же слов, уже целую твою шею, сомкнутые, обиженные губы, холодные щеки. И давя твою грудь через свитер, поочередно, то одну, то другую. Ты сидишь неподвижно, не мешаешь, но и не поддаешься. Ты мстишь мне. Пусть, пусть я теперь тебя раздеваю, да? Пусть я задираю твой свитер. Пусть теперь я лезу к твоим лопаткам, да? А ты даже не отодвинешься от спинки кресла. И не будешь реагировать на то, как я засасываю твою мочку, сладкую, эту маленькую мандаринку. Но губы твои открываются, закрываются глаза, ты рывком поворачиваешь голову – и губы наши превращаются в единый бесформенный клубок, который пульсирует, напоминая столкновение разгоряченной лавы с пропитанной солнцем землей. И вот уже не понять, где лава, где земля. Все стало единым. И два языка наших – сведенный мост через бездну. Мост друг в друга. Мы едины, ты слышишь?! Я принимаю твой жар в себя, и пусть от меня останется только обугленная арматура, я беру его. Томатный хруст, я слышу его. Томатный сок закипает у меня в груди, лопаются пузыри, все вокруг бурлит. И тонет в нем моя жизнь, плавится. Ты пахнешь кипящим томатным соком, ты сделана из него. Дай же еще губ, дай еще

языка! Суй его глубже, оближи мою душу, откуси от нее лоскуток! И трещит твоя куртка под моими пальцами... Ну, хватит, хватит... Давай... спокойнее... Мы так задохнемся... Хватит... Нам пора... пора...

Зима обманула, наступила снова.

В самую стужу, в страшно-сказочную предмартовскую метель, тебе захотелось ясновидения. С чего вдруг ты стала видеть неясно? Кто замазал тебе глаза? Ты просто сказала, прошу тебя, садимся и едем к ворожее Наде в Степанове Будем спрашивать ее про нашу любовь, про то, что она есть такое.

Сели и поехали.

Пока мчали по вечернему городу, метель не так пугала, свет из окон домов и фонарей обманывал нас, преуменьшал значение хаоса. Машинка справлялась, искренне веря в эту фонарно-светофорную ложь.

Город закончился, началась трасса, окутанная стремительным потоком поземки. Поток уходил в белую бесконечность, за которой, казалось, и есть край земли. Но ты не верила в существование края земли, поэтому мчала каждый раз за край, и снова за край, не сбавляя скорости.

Въехали в Степанове Село погрузилось в мельтешащую мглу. Дома были похожи на гигантские черные головы деревянных великанов, тела которых по шею занесло снегом. И лишь глаза-окошки мерцали сквозь порошу тусклым светом.

– Ну и где этот дом, где она живет, ворожея эта Надя? – спросила ты у руля, в который вцепилась, спросила с пугли-

вым раздражением.

«Где тут узнают про любовь, а? Что она есть такое?» – чиркнула смешная мысль мне по виску, воспламенилась, потухла.

Я мягко попросил тебя затормозить в любом месте, иначе было нельзя. Мы втроем – ты, я и машинка – качались, словно на вздыбленных волнах, готовые утонуть в белой морской пучине, на дне которой шевелились снежные крабы, ледяные рыбы и покрытые инеем водоросли.

Ты закапризничала: ну сделай что-нибудь, ты мужик или кто?

Я пересел за руль, поплыл по волнам медленно, то и дело сверяясь с курсом. За такой метелью можно было вовремя не увидеть айсберг – и разбиться.

...вгляделся в кружение. Вдалеке что-то светилось, кто-то ходил прямо по белой взъерошенной воде, какие-то тени. Они что-то кричали, светили фонарями, словно пытаюсь спасти утопленника, чтоб не упал он на дно, не достался гигантским снежным водяным.

Вокруг чего они ходили? Это дом? Голова? Корабль? Сознание не подсунуло ничего привычного, и я просто созерцал непонятное движение неизвестных существ в неизведанном пространстве. Ты поднесла кулачок к губам, распахнула глаза на меня: кожа вокруг глаз надтреснулась. На секунду мне показалось, что из твоего лица проступает другое, чужое лицо.

Что-то ударилось в заднее стекло – один, два, три раза. Где-то сбоку взвизгнула метель, что-то хрустнуло под колесом.

– Можно, дорогие? – вместе с орущим свистом метели влетело снаружи. Дверь шибанулась о ветер.

Я выскочил, снег сразу же заплевал мне глаза ледяной слюной.

Существо улыбалось мне. Как я мог это видеть во тьме?

– Можно присесть-то? Не бойся, дорогой, я человек божий.

Священник сел на заднее сиденье, улыбался, часто дышал. Он был подозрительно молод и весел.

– Женаты ли? – первое, что спросил, высунувшись вперед и рассмотрев нас.

– Только собираемся, отец, – я пытался уловить его состояние, копируя интонацию.

Ты полоснула меня взглядом и еле заметным движением руки. Это было за «только собираемся».

Я решил пошутить:

– Сначала вот про любовь хотим узнать. Что она есть такое...

Батюшка меня не слушал, он взял слово без спросу и отдавать не собирался:

– Я священник местной церкви. Церковь Петра и Павла. Спасибо, что не оставили умирать в метели крошечной. Езжай потихоньку, милый, я скажу, если что...

Он вдруг умолк. Да так умолк, словно и не было его тут, и не говорил он ничего.

Метель влетела в сердце мое. Схватился я за ручку двери...

Он продолжил мягко:

– Любовь, значит, ищете. А я вот думаю, что все иначе. Это она, любовь, должна вас искать. И вообще – почему человек все время обязан искать любовь? Ему что, делать больше нечего? Забот других нет? Пусть берет и сама ищет. Люди-то без нее могут прожить, а она что будет делать, если людей не найдет? Так что вы подумайте. Это ее проблемы – и все тут. Но... не любовь вы ищете, – он хитро растягивал слова, – вы ищете Надежду. Ворожею Надю, так? Больше у нас ведь делать нечего, когда и глазам-то ничего не видно?

– Да, ее, – шепнула ты, словно сомневалась в этом, – Надю...

Батюшка откинулся назад, положил под голову руки. Пальтишко было ему сильно мало, рукава задрались по локоть.

И снова начал сквозь улыбку:

– Была у нас тут история такая. Лет сорок назад. Я тогда родился только. Валентин, с бешинкой мужик, застал жену свою, Аглаю, с каким-то пришлым казаком. Прямо в разгар прелюбодеяния, прямо когда она, словно бес в трубу печную, выла в лицо любовнику, глаза свои затворив. Любви искала, понятное дело. И что ж тогда... Валентин этот возьми да ку-

лацищами забей обоих на месте. А тут двойняшки их прибежали с улицы. Одна и посейчас жива.

– А долго еще? – спросила ты.

– ...значит, вот, – священник зевнул, я наблюдал в зеркало, как губы его в темноте растягивались медленно, за пределы зеркала, до бесконечности, – девчонки мать мертвую с мужиком увидели, заорали, завизжали, как вот снежара этот ласковый за окном. Отец схватил их – и бросил обеих в подвал да закрыл на засов. А сам поставил чугунок, вскипятил воду, да и голову свою туда – сунь! Возьми и сунь! А девки в подвале орут, дверь царапают...

Он сипло вдохнул, взгляд его вспыхнул, но тут же подобрел:

– ...девушка одна в это время в поле гуляла, в одной только ночной рубашке, хотя и день был уже, даже чуть к вечеру. Она, раскинув руки, крутилась там, собирая в ладони ветер со всех четырех сторон, стихией солнца обуреваемая, – показывала себя, чтоб любовь ее быстрее нашла. Но ветер стал толкать ее, иди, мол, сама все обретишь, без всякой любви. Погнал ее ветер. Так и пришла она, крутясь, по дороге, к дому этому, где девочки сидели взаперти. «Надежда, надежда!» – кричали они из подвала. И она услышала. Вошла в дом, поклонилась трем мертвецам до полудня открыла девочек. Вот с тех пор она Надежда. Ворожея Надя. Прежнее имя где-то там, среди темени подвала того затерялось. Надежда вам нужна – вот это правда. А не любовь. Так что – езжайте,

милые. Сморите – пока я болтал, уже и звезды видно стало, все Господь очистил перед глазами вашими да фарами.

Я глупо присвистнул, как это иногда случается:

– А как же Надя? Мы же к ней... Любовь... что она есть такое...

– А Надя? А Надя вот тут, в этом доме. Преставилась она. Вот иду проведать напоследок, спасибо, что подвезли.

Я хотел хоть как-то задеть его:

– А разве церковь... разрешает... ворожея ведь? Колдуны, там, маги и чернокнижники... не унаследуют...

– Церковь-то? Церковь никогда последнюю надежду не отнимает. Кто жизнь человека спас, тот с ворожбой навсегда попрощался, даже если ворожил всю жизнь. Сбежала ворожба. Хвост ее только и видели за углом. Езжайте с Богом, а там видно будет. Вам все впереди.

Вам все впереди... Как это так?

Тебя положили в больницу с инфекцией – неудачно съездила с дочерью в Тунис. И я понял: это мой шанс от тебя отвязаться, осуществить сброс. Но твое присутствие в моей жизни только усилилось. Тебе было плевать, дома ли я, на встрече, пою ли я песни в ресторане, – ты звонила, звонила и звонила. Ты все время звонила. Ты спрашивала, какие книги тебе почитать. Ты говорила о морозе за окном, хотя уже март. Ты рассказывала, что тебе мала ночнушка. Ты сообщала, что дочери стало хуже. Ты не хотела, чтобы муж тебя навещал и плакала оттого, что он должен же навещать дочь.

Я все это слушал еле-еле. На последнем пределе. На самом последнем.

Особенно ты мешала мне своими звонками, когда я выходил подработать в ресторан певцом. Ты могла звонить прямо в разгар песни. Почему я не отключал телефон? Я мог не взять трубку, но наблюдал, как ты звонишь, как оживает экранчик. В этом что-то было. Я знал, что отключенный телефон тебя погубит, инфекция окажется смертельной.

Я – слышишь? – не Тунис, а я инфицировал тебя, я тебя заразил самим собой – и теперь ты кашляешь в трубку и плачешь. Ты свалилась на меня со своей любовью, как баскетбольный мяч на голову тренеру юношеской сборной. И я ужалил тебя в ответ, чтобы спастись. Это просто инстинкт, прости. Ты скоро поправишься. Нет – мы скоро поправимся. И пойдем дальше не как пьяные обезьяны в бреду, а ровной дорожкой, и каждый к себе домой.

Пока ты лежала в больнице, месяц за окном и картина на стене раскачивались еще быстрее, каждую ночь. Я заглушал тебя, твои звонки и слезы Светкиными стонами. Я читал по две книги в неделю, я чаще стал петь в ресторане, я занимался поисками постоянной работы, я начал писать повесть, чего не делал очень давно.

Я хочу и буду жить без тебя.

Но ты звонила. А если не отвечал – писала эсэмэс. А если не отвечал – слала письма на почту, словно трясла их на мой мэйл из больничной пижамы. Везде, везде была ты. Боль-

ная, со слезливым голосом, преследовала, словно плесень на ржавчине.

Я игнорировал. Становился свободным от тебя. Медленно забывал. Я сбрасывал старую кожу, прогуливаясь со Светкой по улицам, читая ребенку сказки. Я испытал нечто сродни ярчайшему оргазму, когда ты написала, что вас будут держать в больнице еще две недели. Мне было не жалко тебя, я ликовал.

– Может, ты ко мне заедешь, а? Мне так одиноко, приезжай...

– Надо подумать... Времени... времени нет совсем...

Совсем нет времени у безработного? У человека, который работал в банке, а теперь поет вечерами в ресторане? Конечно, ты обиделась. Звонки и эсэмэс на пару дней прекратились. А на третий день я приехал к тебе в больницу и десять минут разговаривал с тобой через окошко. В этой своей ночнушке-полупижаме ты казалась обиженной, трогательной, и я вдруг почувствовал себя во всем виноватым.

Я. Это я инфицировал тебя. Прости же, прости.

Ты вышла из больницы красивая и отдохнувшая. Я сразу решил взять тебя в отцовскую квартиру, пока она пустовала, а у меня были ключи.

Определенная цель отсутствовала. Это просто надо было сделать – отвезти тебя в пустую квартиру, чтобы каким угодно образом наполнить собой.

Ты прыгнула мне на шею, стала целовать, обкалывая губы

свои иглами моей щетины.

Мы стояли на улице близ моего дома и целовались, уже ничего не боясь. Нас обдавало придорожной пылью из-под колес проезжавших мимо машин, но мы не замечали.

Уселись в машинку и просто поехали. По пути я несколько раз порывался сказать тебе о том, что это наш последний день, но ты перебивала меня смехом, шлепками по моим коленям, показыванием языка и округлением глаз. Тогда ты так и не дала мне сосредоточиться и стать серьезным. И я принял игру: стал хохотать и улюлюкать, бить тебя в плечо, передразнивать и вырывать руль на поворотах. Нам сигналили встречные машины, а мы корчили им рожи.

– Какой этаж?

– Седьмой, лифт сломан, идем пешком, бежим же...

Я нес тебя на руках, потом устал и просто уже тащил. Ты спотыкалась, я поддерживал, ты прыскала, колотя меня кулачками по груди. Мы ударялись о двери чужих квартир, но никто не вышел посмотреть, что за безумие творится в подъезде. Ты зачем-то отдала честь коту, что развалился на соседском коврикe, я не попадал ключом в замочную скважину, меня сотрясал хохот.

Мы вошли и сразу повалились на пол, в одежде, в обуви. Нас разрывало от смеха, от страсти, от одышки, от счастья. Я, смеясь, выплюнул рукав твоей куртки, чуть не задушил себя, стаскивая шарф, ты пнула ногой коробку с кремами и щетками для чистки обуви – все это разлетелось по коридо-

ру.

Пропела кукушка в часах, и я почувствовал твою пульсацию внутри, обварил свое вспухшее окончание в твоём кипящем томатном соке, ты вскрикнула, стиснула зубы, зажмурилась, словно от нестерпимой боли, и... я стал сдуваться, я уменьшался, я потерял свою цельность, я обмельчал... Томатный сок был слишком горячим, твой крик слишком громким...

Эти обеды в машинке. И разговоры. И Светкины скандалы – уже ставящие к стенке, бьющие дробью в висок. И мои мнимые поиски работы. Все это шло и шло, катилось, словно обмазанное салом жизни колесо – куда оно несло, к какому шлагбауму?

Деньги у нас в семье стремительно кончались. Светкина работа приносила все меньший доход, моя приносила лишь раздражение с пятью нулями. А ты все смеялась и веселилась, все ездила наращивать ногти и покупать новое кружевное белье. Никакой кризис тебя не касался, даже волосок на голове не дрогнул. Ты говорила, что рождена жить в достатке – и плевать на то, что творится в стране и что там сказал очередной кликуша от экономики. Главное, быть оптимистом, забить на все, смотреть вперед и жить легко. Я же таскал на себе мешки, набитые клацающими ртами всепожирающей тоски, и с каждым днем они тяжелели. Уже было не разобрать, где там тоска, где я сам, где экономический коллапс, но с каждым днем я становился все злее, раздраженнее,

а ты ничего этого не замечала.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.